



Е. КНИПОВИЧ

ТОМАС МАНН О ФАШИЗМЕ

Разные концепции
«Доктора Фаустуса»

В № 9 журнала «Иностранная литература» за 1969 год была опубликована статья исследователя и переводчика творчества Томаса Манна С. Апта «Читая письма Томаса Манна».

Определяя основные линии эпистолярного наследия великого писателя, автор статьи, естественно, обращался и к творчеству его — в частности, к наиболее значительному произведению последнего периода, роману «Доктор Фаустус». Для особого внимания к этому роману существовала и непосредственная причина — оценка «Доктора Фаустуса», которая заключалась в эссе известного польского писателя С. Лема «О моделировании действительности в творчестве Томаса Манна» (опубликовано в ГДР в журнале «Зинн унд форм»). Принципиальное осуждение романа, говорит С. Апт, С. Лем основывает на том, что в «Докторе Фаустусе» анализ реальных общественных сложностей, вызвавших ту «цепную реакцию», которая превратила в развалины всю Европу и четверть Азии, заменен застывшей, детерминистской схемой фаустовского мифа, простейшим случаем выбора между добром и злом. А такой выбор, говорит С. Лем, «есть, может быть, у Робинзона Крузо, но не у обыкновенного смертного, который по уши увяз в своем обществе и теряет чувство личной ответственности... сообразно своему «весу», то есть тому, какое давление оказывают на него неличные, общественные силы».

В № 6 журнала «Новый мир» за 1970 год напечатан русский перевод эссе С. Лема (под названием «Мифотворчество Томаса Манна»). Публикации предпослано краткое предисловие автора, в котором он, не опровергая того, что С. Апт правильно понял его, С. Лема, толкование романа, вместе с тем утверждает, что такое толкование дает произведению подавляющее большинство исследователей творчества писателя и что, таким образом, С. Апт спорит уже не с ним, С. Лемом, а вроде как с «гласом народа». А ведь по пословице это есть и «глас божий», то есть некоторый архаический псевдоним объективной истины.

Однако при чтении текста статьи и предисловия к ней создается впечатление, что весь «глас народа», в сущности, ограничивается одним литературоведением ФРГ. Но ведь если бы даже все без исключения литературоведы ФРГ давали роману столь единодушную оценку (в чем я лично не уверена), то ведь существуют в литературоведении другие точки зрения, в основе которых лежит концепция творчества Томаса Манна и «Доктора Фаустуса», чрезвычайно близкая той, которую изложил С. Апт. Очень точно и «компактно» эту концепцию определил замечательный писатель и блестящий эссеист К. Федин: «Самосознание романиста, место его в современном обществе, назначение поэта и роль искусства в наши дни — эта тема многосторонне исследуется писателем, переключивая из его прозы в статьи и обратно, отыскивая себе воплощение в образах, и становится отточенным инструментом для раскрытия несравненно более обширного мира, нежели искусство, — всего мира буржуазной цивилизации».

По существу, тема поэта и есть подспудная и, мне кажется, заветная тема Томаса Манна. Но так как он смотрит на современность глазами реалиста, то огромное для него содержание понятия «поэт» сталкивается с действительностью и вступает с ней в жестокий конфликт.

Этот конфликт перерастает, собственно, в борьбу поэта за свое место в обществе, превращается в новую, более емкую тему для художника, толкает к познанию самого буржуазного общества, к его разоблачению и наконец к протесту против его строя».

Правда, в предисловии к публикации в «Новом мире» С. Лем противопоставляет объективное, «само по себе», существование звезд или камней, «зависимому» от человеческого восприятия разной среды и разного исторического времени существованию произведения литературы. Вследствие этого он может и не принимать как одну из «множественностей» толкование «Доктора Фаустуса» и творчества Томаса Манна, принадлежащее К. Федину. Но вопрос об объективном существовании произведения литературы, да и произведения любого искусства, очень не прост. Конечно, камни есть «объективные» камни, но как обстоит дело с камнем, который обработан «каменотесом» Микеланджело? И звезды есть звезды, но как быть с теми звездами, которые брызнули из сосцов богини на полотне Тинторетто «Рождение Млечного Пути»? Что тут объективно и что тут «множественно»? И существует ли книга объективно только как четырехугольный предмет высотой, шириной и длиной в столько-то сантиметров или есть у произведения литературы еще и иная «объективность» — та, например, которая заставила поэзию французского Сопротивления почему-то поднять из глубины веков «Песнь о Роланде» и ее героя? Думаю, что в каждом подлинном произведении искусства наряду с «временным», «относительным» восприятием его разными читателями разных социальных слоев и разных эпох существует и то зерно абсолютной истины, которое может сделать его живым для последующих исторических периодов. И я думаю также, что это «зерно» с наибольшей точностью может нащупать именно марксистско-ленинское литературоведение.

И хотя С. Лем утверждает в предисловии, что своим эссе он полемизирует лишь как бы с самим романом «Доктор Фаустус», а по существу с привычным штампом его толкования, согласиться с этим трудно потому, что в тексте все инвективы точно адресованы именно и только великому немецкому писателю.

Так в чем же, с точки зрения С. Лема, не прав Томас Манн?

В том, что он якобы отождествил грешного композитора Адриана Леверкюна с немецкой нацией, а дьявола, с которым тот заключил пакт, — с фашизмом. И сведя таким образом «отношения» немецкой нации и фашизма к старому фаустовскому мифу, он объективно героизировал, возвысил эту «двустороннюю сделку». С. Лем уделил в эссе много места доказательству справедливой мысли о том, что Мефистофель «Фауста» и «демон» фашизма диаметрально противоположны. Но ведь и Томас Манн ни в малой мере их не отождествляет. У «черта», явившегося к грешному композитору, нет ни малейшего сходства с Мефистофелем.

Более того, сам Томас Манн в статье «Возникновение Доктора Фаустуса» дает ключ к генеалогии этого «нового» черта.

Одним из существенных литературных источников, которые с самого начала питали замысел «Доктора Фаустуса», была, по словам Томаса Манна, замечательная повесть Стивенсона «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда». Из этого следует, что Томас Манн очень внимательно исследовал модификацию «дьявола» в мировой литературе. Ведь не только величественный герой поэмы Мильтона, но даже и странствующий схоласт «Фауста» Гёте уже во второй половине XIX века претерпели огромные изменения. Николая Ставрогина искушал, по его определению, чахлый бесенок с насморком, Ивану Карамазову черт явился в виде облезлого пошляка, обедневшего помещика средней руки.

Что касается доктора Джекиля, то он путем научного эксперимента выделил из себя активное, действенное начало — мистера Хайда. И это «самое сокровенное» личности доброго уравновешенного буржуа оказалось «чертом» — убийцей, преступником. Причем его отличительная черта — это потертость, безликость, незаметность. И об истинной сущности его нормальный человек может догадаться только по ощущению ледяного холода, невозможности «сосуществования» с ним.

Несомненно, в ближайшем родстве с мистером Хайдом состоит малорослый, небритый, обутый в нечищенные ботинки и излучающий ледяной холод ночной собеседник Адриана Леверкюна. И это отнюдь не единственное воплощение зла, так сказать, новой формации в современной литературе. Достаточно вспомнить хотя бы «Дракона» Евгения Шварца.

И в таком воплощении зла, сочетающем пошлость, мизерность с властью над людьми, и отражены отношение художников современности к фашизму, память о победах фашизма, о его вожаках — тех, кто, по слову Бертольта Брехта, был даже не великим преступником, но всего лишь свертелем великих исторических преступлений.

И подставляя в своем эссе на место такого дьявола гётевского Мефистофеля, С. Лем сам создает некий миф о Томасе Манне и «Докторе Фаустусе».

Следующее возражение, выдвинутое в эссе против «Доктора Фаустуса» и его автора, заключается в том, что ситуация романа — архаична, так как в наши дни «дьявол» — в том числе и «дьявол» фашизма — не вступает в спор или поединок с отдельным человеком и даже более того — что у человека в условиях власти фашизма нет возможности выбора, ибо как отдельный человек он вообще не существует.

«Каков же фон времени, на котором развивается эта история (роман «Доктор Фаустус». — Е. К.)? — спрашивает С. Лем. — Испытать даже самое чудовищное зло,

Е. КНИПОВИЧ
ТОМАС МАНН О ФАШИЗМЕ

зная, что оно «адресовано лично тебе», потому что существует Некто, кто именно тебя выбрал жертвой,— это, что и говорить, роскошь по сравнению с нормами эпохи. Мы в Европе были зернами, которые миллионами летели в жернова; и в щелях, разделяющих жизнь и смерть, миллионы существ не имели ни времени, ни места не только на разговоры с адом или с небом, но даже на один-единственный жест попрачной человечности. Жертвы были лишены лица, имени, личности. Тот, кто, названный поименно, погибал за свои заслуги или грехи как избранник дьявольских или недьявольских сил, находился в чрезвычайной, в исключительной, в завидной ситуации: он хоть на мгновение выходил из неизвестности, становился человеком хотя бы для убийцы, который распознавал в нем личность, а не только сырье для химических фабрик.

Я не думаю, чтобы столь разных людей «героической нравственности», как Юлиус Фучик или генерал Карбышев, хоть сколько-нибудь занимал вопрос о том, что они стали «личностью» для дьявола, убийцы, который настойчиво предлагал им заключить с ним пакт. Но ведь «личное» предложение стать предателем, доносчиком, диверсантом, палачом узники тюрем и концлагерей получали от «дьявола» ежедневно и ежечасно. И удивляться надо не тому, сколько под страхом пытки и смерти шли на этот «пакт», а тому, сколько все-таки «вопреки всему» его отвергли. Выбор? Но ведь миллионы не были убиты сразу, и «жизнь» (если это можно назвать жизнью) в лагере была ежедневным и ежечасным «выбором». И читая материалы об этой «жизни», беседуя с людьми, на чьей руке навсегда остался лагерный номер, опять-таки удивляешься не тому, сколько было там «безликого» ужаса, а тем проявлениям человечности, опять-таки «вопреки всему».

Нет, фашизм не был проявлением «некой мировой глупости», «иррациональным» стремлением носителей этой «глупости», лизнувших крови, беспорядочно уничтожать слабых — евреев, цыган, детей, женщин, стариков.

Ведь фашизм — это знаем мы оба, и С. Лем и я, — был диктатурой наиболее реакционных слоев империалистической буржуазии. И начал он убийства не со слабых, а с сильных и не с «чужих», а с немцев.

Первые узники концлагерей были немцы, антифашисты. И первые головы, которые упали с плеч под ударом «древнегерманского» топора, были головы немецких коммунистов. Да и уничтожая слабых (не только в лагерях уничтожения — вспомним колодцы, полные детских трупов, возле деревень Белоруссии и Смоленщины), фашисты прежде всего стремились «выявить» и ликвидировать «сильных», вожakov — коммунистов, комиссаров. И до того, как узник концлагеря мог стать «сырьем» для химической продукции, все, что из него можно было выжать, как из рабочей силы, выжималось на «дочерних» предприятиях Круп-

па или И. Г. Фарбен. Ценой неограниченного расхода людей мощные концерны получали годовой доход в много миллиардов марок. Да, фашистская власть считала на миллионы, но мы всегда помним, что это миллионы личностей, людей, и страдания, «выбор», смерть каждого из них имеет для нас — тех, кто остался в живых, — равный вес и цену.

В уцелевших бункерах Бухенвальда все стены увешаны фарфоровыми веночками, табличками, крестиками, под ними — имена на всех языках Европы. Нет, для каждого из миллионов погибших сделать это невозможно. И безмяны не только жертвы лагерей уничтожения. Никто не знает «поименно» тех, кто покоится на Пискаревском кладбище — братской могиле шестисот тысяч моих земляков-ленинградцев. Но каждый, чьи близкие «вошли» в огромный список мертвых города-героя, несет туда свою личную скорбь и личную память, так же как свою личную скорбь, боль и гордость каждый соотносил в годы войны с формулой, ставшей поистине священной, — «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины».

Такая боль и такая память укрепляют во всяком нормальном человеке чувство личной ответственности, крайне, до предела необходимое чувство для гражданина планеты Земля наших дней. Вот почему прав Томас Манн, который в романе «Доктор Фаустус» не топил вопрос об ответственности во впечатляющем потоке статистических данных, а сказал горькие слова об ответственности каждого, о необходимости «выбора». И если этот самый жгучий вопрос поставлен на судьбе художника, если Томас Манн пытается вместе с читателем понять, почему вступил незащищенным в сферу фашизма большой талант Германии XX века, то честь ему за это и хвала. А также и за то, что в романе сказана горькая правда о реакционных традициях немецкой нации и немецкой культуры, о том косном, слепом тяготении к «национальному» как к единственному, имманентному, навсегда данному понятию, которое становится и тайным пристрастием к смерти.

В эссе С. Лема уделено много внимания, так сказать, «деидеологизации» фашизма, в частности опровержению связи философских основ фашистской доктрины с философией Ницше.

Согласна, учение Ницше выступает в трудах фашистских идеологов в окарикатуренном виде, согласна и с тем, что в россыпи блестящих парадоксов немецкого философа можно найти и весьма остроумные антибуржуазные выпады. И все же думаю, что связь между «стержнем» философии Ницше (а он все-таки есть!) и фашизмом отрицать невозможно.

А возражение, вроде следующего — «какая связь, если большинство фашистских убийц даже и не читали Ницше», — сродни отрицанию мелкобуржуазности той или иной идеологии на том основании, что носители ее не владеют мелочной лавочкой.

Связь «автономного государства мысли» с историческими судьбами нации отнюдь не проста. Вернее было бы сказать, что «царство мысли» никак не автономно по отношению к истории и социологии. Вот почему и нельзя согласиться с тем выводом, каким заканчивает С. Лем свою речь в защиту Ницше:

«В великой, часто диссонансирующей симфонии человеческой мысли не хватало бы Ницше; и совершенство будущего, предсказываемого народолюбцами, не в том, чтобы запрещать взгляды, противоречащие принятым. Главное, пожалуй, создать такие социальные условия, чтобы можно было говорить абсолютно все в полной уверенности, что ни парадоксы, ни неправда не создают зла, поскольку нет для этого горячего материала». Боюсь, что в этих словах заключено то представление об «автоном-

ном царстве мысли», которое делает его чем-то вроде летающего острова «мудрецов» Лапуты в «Путешествии Гулливера».

Совершенное будущее, предсказываемое народолюбцами, то есть коммунизм, действительно, по логике, не будет содержать горячего для идеологии лжи и изуверства. Но ведь откуда она придет в это общество? Очевидно, именно с «Лапуты», где обособятся некие космические ревизионисты, бесцельно бомбардирующие коммунистическое общество продуктами своей идеологии, где для нее «нет горячего».

Боюсь, что спор с Томасом Манном завел отличного писателя С. Лема на такие дорожки, где можно запутаться окончательно и где невозможно определить и величие и действительную исторически обусловленную ограниченность Томаса Манна — последнего великого писателя буржуазного мира.